

С. 2.

ЕЩЕ ОДНО „ОДЕСС. НОВОСТЕЙ“

30-го декабря 1898 года.

Письма о литературе.

О г. Вересаеве.

I.

О правдивости книг журналов говорить не в состоянии: по части бездобривности их надо только и есть интересного, что крошечный новый разсказ г. Короленко „Необходимость“.

Собственно говоря, жизнь давно уже ушла из наших журналов и перешла из них в книгу и газету: там ей куда выгоднее. Не много мы видим жизни, претендующую на достоверность, из газет — жизнь насильнообразную, но бытовую и бытовую или чужую. По старой памяти, журналы хвалят еще „руководить“, но уже мало кто из нас слушает, и оживляют лишь авторитетом 60-х и 70-х годов и даже из рабских сил. На западных журналах давно уже приняты социальные характеры, а деятельная публицистическая мысль все в газетах и брошюрах. Еще немного, и у нас будет то же самое. Но и теперь уже приходится говорить больше о книгах. И растут книги, как грибы, и много среди этих грибов великой поганки. Но есть кое-что и приличное.

Сначала, познанию, о „Сборнике поэм и разсказов“ г-на Вересаева, автора малосимпатичного, но такого, которому хотелось бы предсказать хорошую будущность.

II.

Темы, которые привлекают к себе внимание г. Вересаева, настолько больше переживаемых нами, что его „Очерки и разсказы“ по всей вероятности и справедливости могут быть названы частью художественной жизни нашего времени, — жизнью, несомненно, очень интересной, хотя и такой, где на каждом шагу встречаются и промахи, и словесные неясности, и всеобщая неопределенность вообще. Трудно писать такую книгу, и большинство молодых беллетристов поступают в этой области предостережительно и благоразумно, уклоняясь от сложной задачи и разрабатывая ее раз уже разработанными общими чувствами и общими настроениями, но претендуя на поэзию и веря в ее величие — дамы установившиего шаблона. Если г. Вересаев не отказывается от своего принципа и прежде всего старается вырваться из окружающей его обстановки, то это вполне естественно: его творчество (пока) принадлежит к числу живых, а не прожитых.

Прежде всего из интереса в поэзии. Конечно, он не один из спешит жить — стоит вспомнить г. Боборыкина, но г. Боборыкин был, есть и, вероятно, будет талантливейшим хронологом своего времени, без всякого определенного философского настроения, членовых фактов, обобщений эти факты в таком изобилии, что они подавляют его самого и даже в лучших его вещах не позволяют видеть дна из за догматизма. Г. Вересаев — другое; его дарование гораздо больше синтезирующее и вся задача критики сводится к тому, чтобы определить, что же дала автору его синтезирующая работа, не сочувствовать, которой положительная веда. Видя вопрос, приведенный в конце концов к недоумению г. Вересаева, вопрос о том, что же делать и можно ли что-нибудь делать в смысле общественного „благоустройства“ и можно ли что-нибудь сделать в этом направлении сейчас, как нам кажется, очень и очень многих. Вопрос, повидному, самый простой, но каждое поколение отвечает на него совсем по своему.

Съ стороны дарования г. Вересаева не приходится речевого впечатления. Во-первых, он пишет очень мало и порою бледновато, замечая даже художественную форму разсказа диалогической, во-вторых, его разсказы отличаются крайней элементарностью интриги или даже полным отсутствием ее: вместо интриги на первом плане психологический анализ; в-третьих, подражательность художественных приемов г. Вересаева слишком уже бросается в глаза, из чего, впрочем, есть ничего дурного, так как он только начинал свою карьеру.

Трое из наших беллетристов оказали несомненно сильное влияние на г. Вересаева; эти трое: Толстой, Короленко и Чехов. — в особом по последнем. В стиле и тон г. Короленко написаны очерки „На пертой дороге“; в стиле и тон „Юности“. Толстого — разсказ „Порыв“. На всем остальном („Товарищи“, „Прекрасная Елена“, „Загадка“, „Без дороги“) — лежит отчетливый отпечаток художественных приемов г. Чехова, хотя его тонкий артефакт на жизнь г. Вересаева, повидному, не раздается, по крайней мере не хочет раздаться. Подражает г. Вересаев совершенно открыто, причем любовно отыскивает, незначительную, но характерную черту: очевидно подражая Платону Толстого и, переиначивая ее, г. Вересаев дает своим героям не только то же имя, но и отсылает их к мимолетной фигуре из истории, славянской или, из которой у него получается, правда, нечто очень возмущающее и случайное, но все же выходящее из Платона Толстого (С.

С. 2.

ва. Очевидно, что г. Вересаев не столько не о виртуозности думать и не хочет даже со святками справляться, а ведь выудить оттуда какую-нибудь Оеопонту или Евтихию советить легкое дѣло. Вѣдѣя Достоевскаго на разсказахъ г. Вересаева незаметно совершенно — черта, но лишена значительности. Онъ, очевидно, стремится къ художественно полной обработкѣ жизни въ ея разнообразіи и не стѣсняется свое молодое творчество маленькими кругами специальныхъ и исключительныхъ явленій; надо отдать ему полную справедливость — въ этомъ отношеніи онъ выбралъ собою превосходныхъ руководителей. Впрочемъ, на основаніи тѣхъ данныхъ, которыя представляютъ или "Очерки и разсказы", мы не сколько не сомнѣваемся, что рано или поздно г. Вересаевъ долженъ выбрать се и на самостоятельную дорогу.

Интересными сторонами собраннаго имъ небольшого томикъ являются, во-первыхъ — какъ это было указано нами выше — современность темъ, такъ какъ въ разсказахъ мы встрѣчаемся и съ голодомъ 91 г., а холерой 92-го — 93-го годовъ, и даже распрей между нарикизмомъ и народничествомъ, и злѣмъ недоумѣвающимъ и тревожнымъ вопросомъ о цѣлѣ, плодотворности и необходимыхъ стимулахъ дѣятельности. Поставивъ передъ какими-нибудь огромными, стихійными явленіями народной жизни интеллигентнаго человека г. Вересаевъ спрашиваетъ послѣдлаго: "что ты долженъ и что ты можешь?" — Долженъ все и не могу ничему, отвѣчаютъ обыкновенно интеллигентные люди въ произведеніяхъ г-на Чехова; герои г-на Вересаева рѣшаютъ загадку иначе. Въ элементарной своей формѣ тема эта разработана въ разсказѣ "Порывъ".

Если ограничиться одной художественной стороной дѣла, то "Порывъ" надо признать лучшимъ произведеніемъ всего сборника, хотя подражательный характеръ его очевиденъ. "Дѣтство", "Отрочество", "Юность" — вотъ тотъ рудникъ, откуда г. Вересаевъ черпаетъ лучшія свои краски для психологическаго обиходнаго мальчика. Сюжетъ въ сущности очень простъ, но онъ замѣчательно глубоко захватываетъ таинственную психологію юнаго возраста, открывая передъ нами то "дно души", достигнуто котораго даже при помощи "Крѣпкѣ" Эбинга и Достоевскаго напрасно старается г-жа Гиппиусъ. Пятнадцатилѣтній мальчикъ Митя (отъ лица котораго ведется разсказъ), несмотря на формальное запрещеніе отца, ѣдетъ въ бурную ночь на лодкѣ спасать утопающихъ и едва не гибнетъ самъ. Уброшенная за нимъ въ погоню матери на другой же день разматывается страшный ревматизмъ. Отецъ хочетъ, чтобы сынъ смирился, признавъ свою вину непослушанія, свою неблагоприятную; но сынъ не можетъ этого сдѣлать.

Въ этотъ же вечеръ вся суть и вся психологическая правда разсказа. Это то, что были умные педагоги называли упрямствомъ, въ дѣйствительности же имъ видныя передъ собой хотя бы смутное, иное, но стѣйно-могущее сознание своей правоты. Когда отецъ послѣ мягкихъ упрековъ вышелъ изъ комнаты — Митя остался одинъ.

"Въ головѣ, — разсказываетъ онъ, — стоялъ туманъ, мысль не работала, я словно былъ пришибленъ сознаниемъ всей неизбѣжности совершеннаго мною преступленія. Иногда я взглядывала на свой поступокъ со стороны, и мнѣ казалось непротивнымъ, чтобы я могъ совершить его. Вдругъ словно что ослѣпило меня. Господи! да чего же я! Митя скорѣе, сказать, что я самъ не знаю, какъ это вышло, попросить прощенья... — Нѣтъ! — раздался въ душѣ негодующій голосъ. И то же злобно-упрямое чувство разомъ охватило меня... Разсудокъ все время съ неутомимою ясностью твердилъ мнѣ: "ты виноватъ, виноватъ!" — и я соглашалась съ нимъ, я не могъ ему противиться. Но что-то смутное, робкое, несознанное поднималось ему въ отвѣтъ изъ самой глубины души: тутъ была и обида, и сознание своей правоты, и тоскливое желаніе отстоять эту правоту"... Мальчикъ не сдастся, не смотря на тихія просьбы матери и ея болѣзнь, молчаливые упрёки сестеръ, полное разстройство милаго семейнаго обихода, собственными муми, которыя доводятъ его чуть не до галлюцинацій: ему кажется порою, что отецъ ворвался въ его комнату и, услышавъ то же упрямое "нѣтъ!" начинаетъ бить его, а самъ онъ будто только смотритъ на него большими, недоумѣвающими глазами и кротко спрашиваетъ "за что?"... Наконецъ, за полчаса до отъѣзда отца на продолжительное время онъ идетъ просить прощенья: но примиреніе не выходитъ полнымъ: у обидѣ въ сердцѣ оборвалась какая-то струна.

Если смотрѣть на "Порывъ" не просто какъ на талантливый психологическій очеркъ, а связать его содержаніе съ общими вопросами сборника, то можно, въ какомъ смыслѣ отвѣчать г. Вересаевъ на указанное выше вопросомъ. Очевидно, что онъ весь на стороне Мити, едва не погибшаго въ чужой бѣдѣ; онъ любитъ красоту и непосредственностью его поступка и дидактическими страницами разсказа безусловно оправдываетъ его, признавая, конечно, его уловатость. Митя сердцемъ понялъ самую простую вещь: забывши обо всемъ, надо бѣжать туда, откуда раздаются крики о помощи. Но какіе результаты "порыва" Мити? Въ сущности, очень ничтожны. Во время наводненія онъ былъ единственнымъ обладателемъ лодки, но эту лодку сорвало в унесло теченіемъ, а самъ онъ не попалъ по невнимательности.

С. 2.

совокупный покой оказался не только шестым параличом, но и разрушением. Гибель вопроса получился два, при чем первое уничтожает второе и обратно, а в пользу нормы Ити говорит только его красота, но не плодотворность.

Совершенно на ту же тему написана большая повесть г. Вересаева — „Без дороги“. Ей герой — доктор Чепанов, получивший чахотку во время голодного тифа и забытый до смерти во время холерных беспорядков, — многие своими идеями и возгласами напоминают Павлова г-на Чехова, но не имеет еще и ничто лично ему принадлежащее. В студенческие времена Чепанов был большой руки идеалистом и рвался служить народу, служить ему прямо и непосредственно своими знаниями и любовью. Напрасно ему предлагали готовиться к профессуре, напрасно указывали на слабую грудь, которая не в состоянии вынести всего, что требуется от уважаемого врача. Но он настоял на своем, взял первое попавшееся место и сразу очутился лицом к лицу с огромной парадной бляхой. Он работал до переутомления, доработался до чахотки, но сознать во это ощутил его дух. Дух прежде и больше всего был опущен тем, что идеалисту Чепанову, беззаветно вверившему во всемогущество науки, в возможность при ее помощи облегчить народные страдания, приходилось каждый день и час убеждать в своей полной безпомощности и молить своих беззлых. Но его старания пропадали, как камень в море, он видел, что ему приходится срыть гору детской лопаткой, тушить пожар стаками воды, забороны из мешочек оставаться владением. Смертно и грустно становилось духу, было что-то мучительно обидно и в бесали науки, и в своей собственной силе, даже очевидной ненужности. А тут еще покровительственно-притворное отношение власти к нему, к их желание показать свое всемогущество над несчастным „хвораем“, и в конце концов держал выходил некоего то начальства вероломство чашу, и Чепанов, нахнувшись на все рукой, позавал в отчаяние, прекрасно и с большим опущением ощущением создавая, что он, как раб зфинный и лукавый, уклоняется от работы и, как трус, бежит с поля битвы. Но он не мог больше, „что-то“ оборвалось в нем, святое вью служения и помощи утеряно в его глазах всякий ореол, страшная, скучная действительность неслась перед ним во всей полноте, действительность холодная и голодная, пугающая своей безысходностью. Конечно, но не в этом душевное перерождение разрывавшаяся чахотка сыграла свою роль, но не от одной обиды неслась все. Школьные мечты и мечты

тяжести лежать в оскубленном творческой мысли и творческой мэри, оскубленный, наступавший так скоро просто потому, что Чепанов — человек не деятель, не сильная натура, что он способен на прекрасное и романтическое, но лишь, как на морю. Разъесть не оправдал надежды, но дал сейчас же самых блестящих результатов — Чепанов бежит, облитый ужасами жизни, а на время совершенно пустоты и чуть дышит, как человек победив сильного кровожадного. Из такого именно вида и с застывшим в душе стыдом за собственное малодушие Чепанов является в деревню к дяде, где судьба готовить ему новое, научу не меньшее, а во некоторых пунктах даже и большее испытание. Ему, уже утерявшему веру и, во крайней мере, допущенному ее заглушить, приходится встретиться с чистой, нетронутой, полной жизни и неясных стремлений девушкой Наташей. Та с наивностью и злогоном ребенка требует, чтобы он указал ей действительный путь жизни. Но он чувствует, даже знает, что не может никуда поехать. Попытка настроить себя на производный лад означивается лишь стыдом и унижением для него самого. Что может дать он — ничей сам, когда его собственное сердце измано, а все его догматы растерзаны вломки нерыночные разочарования жизни. Но безпокойная, рвущаяся к чему-то огромному, вдохновенному и самоотверженному Наташа заражает и его своим порывом. Для Чепанова, впрочем, это уже порыв отчаяния. Он борется собою самый опасный холерный пункт; работает до обмороков, его забивают на смерть.

Он в больнице.

„Я сижу в больнице — запинаясь, он — изувеченный и умирающий; передо мною, как наиву, стоят перемены жизни, азобой лица, мнѣ слышится хохот, слышится крик „бей его“. И они меня били, били! Били за то, что я пришел к ним на помощь, что я имел свои силы, свои знания, — все!... Господи, Господи! Что же это, сон? ли тяжелый, невбродный или голый правда?.. Не стыдно признаться, — я в эту минуту, когда пишу, плачу, как мальчик. Да, теперь только вижу я, как люблю я народ и как мучительно горька обиды... Нужно умирать. Не смерть страшна мне, жизнь холодная и тусклая, полная безплодных угрызений, — Бог с ним! Я об нем не жалю. Но мне умирать!... За что ты борешься, во имя чего умереть? Чего ты достиг своей смертью? Ты только жертва, жертва бессмысленная, никому ненужная... И напрасно все твоё существо протестует против обидной ненужности этой жесткой: так и должно было быть“

С. 2.

А. П. Чеховъ, вѣроятно, поставилъ бы уми точку, но г. Вересаевъ занавѣшиваетъ дневникъ своего умирующаго героя прекраснымъ, гармоническимъ выговоромъ. Здѣсь, въ больничной койкѣ, исстрадавшийся докторъ снова находитъ и миръ, и вѣру, находитъ тотъ свѣтъ, который (слова Тургенева) „исходитъ изъ сердца человѣческаго и озаряетъ все, что его окружаетъ“.

...Передо мной стоитъ Наташа—читаю въ послѣднихъ строкахъ дневника. Она горько плачетъ, закрывъ глаза рукою. Мнѣ странно—неужели Наташа тоже умретъ плакать? И я тихо глажу ее трепещущую отъ рыданій руку и не могу оторвать отъ нея глазъ. И я говорю ей, чтобы она любила людей, любила народъ; что не нужно отчаиваться, нужно много и упорно работать, нужно искать дорогу, потому что работы очень много... И теперь мнѣ не стыдно говорить эти высокія слова. Она жадно слушаетъ и не замѣчаетъ, какъ слезы льются по ее лицу; а я смотрю на нее, и такая радость овладѣваетъ мною; и я думаю о томъ, какая она славная дѣвушка, и какъ много у жизни хорошаго, и... и какъ хорошо умирать“...

Натура д-ра Чеканова не представляетъ рѣшительно ничего затруднительнаго для пониманія. Въ эпоху умственного перелома, когда работаетъ прежде всего критическая мысль, когда въ дѣятельности этой мысли голосъ сердца не находитъ себѣ рѣшительно никакого подтвержденія и только смущается ею, когда въ обществѣ нѣтъ опредѣленнаго настроенія, нѣтъ поэтической воли, способной захватить слабыхъ духомъ и вести ихъ—обилію подобныхъ натуръ не должно удивляться. У Чеканова нѣтъ характера, нѣтъ кружницы рахметовскаго духа, такъ какъ очевидно, что съ Рахметовымъ и разными предсѣдателями пришлось бы имѣть очень и очень серьезное собесѣдованіе, да и отъ голоднаго тифа онъ бы не отступился такъ скоро. Рахметовъ не сталъ-бы напризнавать и на дерзость отвѣчать дерзостями, потому что онъ не только любить, но и знаетъ, и вѣритъ. Въ Чекановѣ отразилось много любви, но его любовь способна лишь на порывъ, на вдохновенныя проявленія, никакъ не на работу; она вся сплетена изъ жалости и состраданія, изъ нервно истиннаго признанія необходимости быть тамъ, откуда слышатся крики погибающихъ, но ничего такого, что давало бы дисциплину его чувству—въ чемъ нѣтъ. Порывъ любви сначала, порывъ стыда и отчаянія потомъ—вотъ все, чему сводитъ его несложная биографія, такъ трагически закончившаяся. Его духовная смерть наступила раньше физической; онъ былъ уже живымъ мертвецомъ во время разговоровъ съ Наташей, былъ имъ съ той минуты, какъ исчезъ изъ его сердца, а отъ ока-

зала способнымъ лишь на судорожное самопожертвованіе.

III.

Какъ видите, г. Вересаевъ только прикидывается. Онъ самъ и его герои рѣшительно не знаютъ, куда идти, что дѣлать, гдѣ и въ чемъ правда и, по примѣру предковъ своихъ пошехонскихъ, блуждаютъ среди семи сосенъ. Есть въ нихъ что-то и еще одинъ разсказъ—не разсказъ, а что то въ родѣ діалога, цѣна которому въ художественномъ отношеніи пуля съ крестомъ по любопытству все же вещь, съ точки зрѣнія пошехонскаго блужданія. Подъ „пошлостью“ слѣдуетъ разумѣть „марксизмъ“, слѣдовательно марксизмъ—нѣчто свѣршенное, что нибудь въ родѣ чумы бубонной или инфлюэнцы. И г. Вересаевъ отъ себя дѣйствительно называетъ доктрину безобразной. Ну—безобразная, такъ безобразная; такъ и запишите. Но читайте дальше: слѣдуетъ споръ двухъ народниковъ съ двумя марксистами. Народники посрамляются, марксисты торжествуютъ, народники спотыкаются на ровномъ мѣстѣ, марксисты храбро идутъ въ гору. Впечатлѣніе у читателя такое: тутъ самъ чертъ ногу сломитъ.

Очевидно, что это лишь пошехонское блужданіе. И какъ подумаешь, сколько еще въ жизни—становится грустно.

50 лѣтъ тому назадъ одинъ умный человѣкъ писалъ про нашу интеллигенцію:

„Дома мы, будто, на постой, въ семействахъ, какъ чужіе, въ городахъ, какъ будто, почуемъ, а даже больше, чѣмъ племена, блуждающія по нашимъ степямъ, потому что эти племена привазились къ своимъ пустынямъ, чѣмъ мы къ своимъ городамъ.“

Пробѣгите взоромъ всѣ вѣка, наши прошлые, все пространство земли, наше занимаемое, вы не найдете ни одного воспоминанія, которое бы насъ останавливало, ни одного памятника, который бы высказалъ вамъ прошедшее сильно, живо, картинно. Намъ должно молотани вбивать въ голову то, что у другихъ отдѣлалось инстинктомъ, привычкою. Наши воспоминанія не дальше вчерашняго дня, мы, такъ сказать, чужды самимъ себѣ“.

И, честное слово, эти слова устарѣли очень мало и люди западной культуры, смотря на эти вѣчныя пошехонскія блужданія, на эти вѣчныя вопросы: да что же дѣлать, да надо ли это дѣлать, могутъ вспомнить какую то тетюшку, которая только тѣмъ и прославилась, что умереть не умерла, только время проводила.

Все же г. Вересаевъ блуждаетъ съ такой нескромностью въ сердца своихъ, что жаль ему всякаго успѣха.

СКРИБА